

Генеалогия социологии преступности

Влечение к социологии

Достоевскому удалось прозреть истинные смыслы многих социальных реалий не только XIX, но и XX веков благодаря в значительной мере острому социальному чутью и пристальному вниманию к фактам «живой жизни», к ее социальному пульсу. После реформ 1861 года, ознаменовавших крутой поворот в истории России, давших начало множеству неординарных событий, неожиданных и даже загадочных явлений, в общественном сознании стали рождаться бесчисленные вопросы, требующие ответов. Но кто мог бы их дать? Кто мог бы разобраться в них? Ни научная интеллигенция, ни большинство литераторов, ни учителя, ни духовенство не были способны к этому. «Остаются, стало быть, — писал Достоевский, — ответы случайные — по городам, на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних помещиков... Ответов, конечно, будет множество, пожалуй, еще больше, чем вопросов, — ответов добрых и злых, глупых и премудрых, но главный характер их, кажется, будет тот, что каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет *crescendo*. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса» (25, 174).

Таким представлялось положение вещей. Просветить толщу новых социальных фактов и объяснить народу, что происходит с ним и с его жизнью, было, по мнению Достоевского, некому. Существовало бесконечное множество

обособленных уголков российской жизни, ждавших своих исследователей — писателей, ученых, философов. «И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити?.. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения и нового созидания?..» (25,35).

Могучий социальный темперамент не позволял Достоевскому оставаться в стороне от происходящего. Вопросы и проблемы, волновавшие Россию, беспокоили его творческое сознание. С одной стороны, он непосредственно реагировал на них как издатель журналов «Время» и «Эпоха», как публицист, автор «Дневника писателя». С другой же, волею писателя, ряд героев его романов оказываются стихийными социологами, остро интересующимися самыми разнообразными социальными фактами, собирающими, коллекционирующими их с тем, чтобы за их пестрыми россыпями увидеть скрытые закономерности. Так, Катерина Николаевна говорит Аркадию Долгорукому в «Подростке»: «Вы помните, мы все с вами читали “факты”, как вы это называли... Вы помните, мы иногда по целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями... хотелось узнать, куда это все стремится и что с нами, наконец, будет» (13, 207).

Аналогичную позицию занимает в «Бесах» и Лиза Дроздова, излагающая свой замысел издания книги — соб-

рания фактов, событий, происшествий, «более или менее выражающих нравственную, личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху. Все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслью, освещающей все целое, всю совокупность» (10,103–104).

В этом же ряду мы находим и характерное признание Ивана Карамазова в том, что он любит собирать «некоторые фактики», свидетельствующие о состоянии общественных нравов, пользуясь для этого историческими хрониками, брошюрами, газетами, судебными отчетами и художественными произведениями.

Достоевский, обладающий склонностью к внимательному анализу газетных фактов и умевший подниматься от частных случаев к широким обобщениям и глубоким выводам, наделяет этим свойством наиболее выдающихся из своих героев. Так, Версилов, вырезав из газеты заинтересовавшее его объявление, говорит собравшимся членам своего семейства: «Вот слушайте: “Учительница подготавливает во все учебные заведения (слышите: во все) и дает уроки арифметики”, — одна лишь строчка, но классическая. Подготавливает в учебные заведения — так уж конечно из арифметики? Нет, у нее об арифметике особенно. Это — уже чистый голод, это уже последняя степень нужды. Трогательна тут именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в учительницы, да вряд ли чему и в состоянии научить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготавливает во все

учебные заведения и, сверх того, дает уроки арифметики» (13, 57).

В роли наблюдателей социальных фактов выступают рассказчики-хроникеры, ведущие как бы от себя повествования в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Как истинные летописцы-фактографы, они обстоятельно излагают события, оставляя читателю роль интерпретатора-толкователя.

Когда Достоевский начал издавать свой «Дневник писателя», он предполагал, что будет записывать свои впечатления по поводу всего, что наиболее сильно поразит его в текущих событиях. И характерно то, что в значительной мере это оказались впечатления от уголовных дел и судебных процессов.

Социальные факты с криминальным содержанием

Интерес писателя к проблемам преступности обнаружился еще тогда, когда братья Достоевские, издававшие журналы «Время» и «Эпоха», стали печатать материалы о наиболее знаменитых уголовных делах в Европе. Ими были изданы переводы восьми очерков из 9-томного труда Армана Фукье «Знаменитые процессы всех народов», начавшего выходить в 1857 году.

И еще одна особенность избирательных предпочтений Достоевского требует упоминания. Речь идет о сюжетах его криминальных романов, в основе которых, как правило, лежали реальные социальные факты, почерпнутые писателем либо из газет, как это было с «Преступлением и наказанием» и «Бесами», либо из непосредственного общения, как в «Братьях Карамазовых». Так, в середине 1860-х годов газеты сообщали о суде над молодым человеком двадцати семи лет, убившем топором при ограблении квартиры двух проживавших в ней старух. А в 1870 году

Достоевский узнал о том, как пять членов тайного общества «Народная расправа» во главе с Нечаевым совершили убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. Иванова.

Что же касается сюжетного ядра «Братьев Карамазовых», то таковым послужил реальный факт: в сибирском остроге вместе с Достоевским отбывал наказание осужденный за отцеубийство поручик Ильинский, оказавшийся, как выяснилось впоследствии, невиновным.

Впервые в произведениях Достоевского присутствие социологической интенции обнаруживается в «Записках из мертвого дома». В отличие от сочинений докаторжного периода, где социологического настроения практически нет, здесь он вполне очевиден. Масса накопленных в сибирской каторге непосредственных впечатлений, множество сохранившихся в памяти наблюдений, настоящий «монблан» характернейших факторов, владельцем которых он был один, взывали к творческому «я» Достоевского. Со всем этим материалом следовало что-то делать. В результате рождаются «Записки», в которых писатель не только получает возможность хотя бы частично облегчить душу от тяготившего ее груза тяжелых воспоминаний, но и выступает в качестве наблюдательного социолога и проницательного психолога.

С тщательностью внимательного аналитика, неожиданно для себя оказавшегося в ситуации «включенного наблюдения», Достоевский описывает в своем очерке каторжных нравов быт, работу, общение арестантов между собой и с начальством. Попутно им даются меткие и глубокие психологические характеристики преступников, а также предпринимаются попытки типологизировать их пеструю массу. Так, он выделяет среди них три разряда. Это, во-первых, «убийцы по ремеслу», куда входят раз-

бойники и атаманы разбойников. Затем следуют «убийцы невзначай». И, наконец, третья категория — «мазурики и бродяги».

Там же приводится и официально-служебная типология преступного контингента. На первом месте стоят преступники «особого отделения», несущие наказания за наиболее тяжкие преступления, осужденные пожизненно и содержащиеся в остроге вплоть до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. За ними следуют «ссылнокаторжные», лишенные всех прав состояния, осужденные на сроки от 8 до 12 лет и к тому же наказанные проставлением клейм на лицах. Сами арестанты называли их «сильнокаторжными». И завершают эту иерархию преступники военного разряда, не лишенные прав состояния.

Потребность Достоевского обобщить непосредственный опыт, обретенный в результате пребывания в удушающих объятиях пенитенциарной системы, не была чем-то исключительным. Для человека с развитым интеллектом, творческим воображением, литературным талантом она была естественна. Характерно, что нечто подобное произошло, спустя некоторое время, и с князем П.А. Кропоткиным, автором исследования «В русских и французских тюрьмах». Впечатления от пребывания в качестве заключенного в Петропавловской крепости и в тюремных замках Лиона и Клэрве заставили и его взяться за перо. П.А. Кропоткин имел возможность убедиться в том, что тюрьмы, где бы они не располагались, не исправляют преступников. Чаще всего они порождают социальный эффект, противоположный желаемому, т. е. деморализуют и развращают заключенных, ожесточают их души, способствуют прочному и окончательному прикреплению многих из них к преступному миру.

Выводы Достоевского в «Записках из мертвого дома» не отличались оптимизмом, иначе бы он не назвал «мертвым» тот мир, куда судьба забросила его на четыре года.

Достоевский видел, что Россия, вошедшая в фазу радикальных и потому крайне болезненных перемен, переживала время резкого падения нравов, роста преступности и количества самоубийств. Все это не могло не волновать писателя. Социальные факты с криминальным содержанием будоражили его творческое сознание и, как правило, выводили его на уровень серьезных социально-философских обобщений. «Действительно, — писал он, — проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» (23, 144). Когда же факт оказывался не просто ярким, а вопиющим по своей небывалости, чудовищности, жестокости или парадоксальности, то потрясенный дух Достоевского не мог отреагировать на него иначе, как скрупулезным художественно-философским исследованием, каковым и становился каждый его новый криминальный роман.

Как русский дворянин, Достоевский не мог спокойно наблюдать процесс разрушения ценностно-иерархических структур дворянского сознания. В «Дневнике писателя» за 1873 год он приводит поразительный факт о том, как русский князь с древнейшей фамилией был обвинен в краже портмоне. Там же он цитирует газету «Биржевые ведомости», рассказывающую о дворянах, обвиняемых в таких преступлениях, как братоубийство, изнасилование, истязание детей, подлог, оскорбление товарища прокурора и др.

В письме к Е.А. Штакеншнейдер Достоевский писал: «Читаю газеты и изумляюсь ежедневно все более и более. Подкопы в губерниях под банки, Ландсберги и прочее и

прочее. И вот, опишите, например, Ландсберга, которого преступление считают столь невероятным, что приписывают его помешательству. Опишите — и закричат: невероятно, клевета, болезненное настроение и прочее, и прочее. Болезнь и болезненное настроение лежат в корне нашего общества, и на того, кто сумеет это заметить и указать, — общее негодование» (30, 72).

В преступлении Ландсберга писателя поразило то, что этот человек, выкравший расписку и убивший, чтобы не возвращать пятитысячный долг, своего кредитора, 65-летнего старика и его прислугу, был офицером-аристократом, имевшим боевые ордена.

Проблема невиданного падения нравов оказалась в центре романа «Преступление и наказание». Ее непроясненность для общественного сознания отчетливо обнаруживается в сцене полемики Раскольникова, Лужина и Разумихина касательно состояния преступности в России.

Лужин изображает недоумение и растерянность перед фактами неуклонного роста числа преступлений: «Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе, в последние лет пять, увеличились; не говорю о повсеместных и непрерывных грабежах и пожарах; страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил; там передовые, по общественному своему положению, люди фальшивые бумажки делают; там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотерей, — и в главных участниках один лектор всемирной истории; там убивают нашего секретаря за границей, по причине денежной и загадочной...» (6, 117–118). Далее, когда разговор переходит в социально-этическую плоскость мотивационных предпосылок состояния нравов,

Лужин вспоминает, что позитивная наука, отвергшая старые христианские заповеди, провозгласила: «Возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». А это путь одновременно и к личному преуспеянию, и к общему процветанию.

Но Раскольников на это возражает, говоря, что если данную теорию довести до ее логических последствий, то окажется, что «людей можно резать». То есть из теории обособления всех от всех следует обесценивание в глазах каждого личности и жизни любого другого человека. А это предпосылка для роста числа преступлений. И хотя Лужин возражает и по его мнению экономическая идея не служит приглашением к убийствам, однако, в свете более основательных ценностно-нормативных посылок, на которые указал Раскольников, она обретает вполне криминальную окраску.

Аномия

Одну из причин небывалого роста преступности Достоевский видел в состоянии общества, которое он чаще всего называл *переходным*. Суть последнего заключалась в том, что на протяжении целой исторической фазы происходило разложение традиционных социальных структур. Прежние соционормативные предписания, имевшие глубокие культурно-исторические корни, ослабевали, переставали действовать с прежней эффективностью, а другие, приходящие им на смену, еще не обрели достаточной императивности. В результате многие люди почувствовали себя социально, психологически и морально выбитыми из привычной колеи и ввергнутыми в непривычные условия, воспринимавшиеся ими как экстремальные, чреватые бедами и страданиями. В их глазах исчезла очевидная логика развития

социальных событий, резко возросла степень непредсказуемости происходящих изменений.

На фоне ослабления нормативных функций морально-правовых регуляторов логика действия традиционных ограничений человеческой активности стала вытесняться логикой *вседозволенности*. Социальная система медленно, но неуклонно вползала в то болезненное состояние, когда нарушения культурных, нравственных, юридических норм стали превращаться в обычные, привычные явления.

Тяжелая болезнь, поразившая общество, настигла одновременно и человеческую душу, пройдя через нее губительной судорогой, корежа и уродуя нормативно-ценностные структуры личностного «я».

Социально-историческому кризису сопутствовали бесчисленные малые кризисы и экзистенциальные катастрофы душ. От непонимания глубинной сути происходящего расшатывались прежние, казавшиеся когда-то незыблемыми представления. Во многих сферах жизни тон начали задавать те, кого Достоевский называл беспорядочными, недоконченными лицами, утратившими всякое представление о правде и потому легко идущими на преступления.